

# 2

Встреченный мною 9-го сентября поезд, едущий с солдатами, ружьями, боевыми патронами и розгами к голодным крестьянам для того, чтобы утвердить за богачом помещиком отнятый им у крестьян небольшой лес, ненужный ему и страшно нужный крестьянам, с поразительной очевидностью доказывал, до какой степени выработалась в людях способность совершать самые противные их убеждениям и совести дела, не видя этого.

Экстренный поезд, с которым я съехался, состоял из одного вагона 1-го класса для губернатора, чиновников и офицеров и из нескольких товарных вагонов, набитых солдатами.

Молодцеватые молодые ребята солдаты в своих новых, чистых мундирах толпились стоя или спустив ноги, сидя в раздвинутых широких дверях товарных вагонов. Одни курили, другие толкались, шутили, смеялись, оскаливая зубы, третьи щелкали семечки, самоуверенно выплевывая их. Некоторые из них бегали по платформе к кадке с водой, чтобы напиться, и, встречая офицеров, умеряя шаг, делали свои глупые жесты прикладывания руки ко лбу и с серьезными лицами, как будто делали что-то не только разумное, но и очень важное, проходили мимо них, провожая их глазами, и потом еще веселее пускались рысью, топая по доскам платформы, смеясь и болтая, как это свойственно здоровым, добрым молодым ребятам, переезжающим в веселой компании из одного места в другое.

Они ехали на убийство своих голодных отцов и дедов, точно как будто на какое-нибудь веселое или по крайней мере на самое обыкновенное дело.

Такое же впечатление производили и нарядные чиновники и офицеры, рассыпанные по платформе и зале 1-го класса. У стола, уставленного бутылками, в своем полувоенном мундире сидел губернатор, начальник всей экспедиции, и ел что-то и спокойно разговаривал о погоде с встретившимися знакомыми, как будто дело, на которое он ехал, было такое простое и обыкновенное, что оно не могло нарушить его спокойствия и интереса к перемене погоды.

Поодаль от стола, не принимая пищи, сидел жандармский генерал с непроницаемым, но унылым видом, как будто тяготясь надоевшей ему формальностью. Со всех сторон двигались и шумели офицеры в своих красивых, украшенных золотом мундирах: кто, сидя за столом, допивал бутылку пива, кто, стоя у буфета, разжевывал закусочный пирожок, отряхивал крошки, упавшие на грудь мундира, и самоуверенным жестом кидал монету, кто, подрагивая на каждой ноге, прогуливался перед вагонами нашего поезда, заглядывая на женские лица.

Все эти люди, ехавшие на убийство или истязание голодных и беззащитных, тех самых людей, которые кормят их, имели вид людей, которые твердо знают, что они делают то, что нужно делать, и даже несколько гордятся, «куражатся», делая это дело.

Что же это такое?

Все эти люди находятся в получасе езды от того места, где они, для того чтобы доставить богатому малому ненужные ему 3000, отнятые им у целого общества голодных крестьян, могут быть вынуждены начать делать дела самые ужасные, какие только можно себе представить, могут начать убивать или истязать так же, как в Орле, невинных людей, своих братьев, и они спокойно приближаются к тому месту и времени, где и когда это может начаться.

Сказать, что люди эти, все эти чиновники, офицеры и солдаты не знают того, что им предстоит и на что они едут, — нельзя, потому что они готовились к этому. Губернатор должен был сделать распоряжение о розгах, чиновники должны были покупать березовые прутья, торговаться и вписывать эту статью в расход. Военные отдавали и получали, и исполняли приказания о боевых патронах. Все они знают, что они едут истязать, а может быть, и убивать своих замученных голодом братьев и что начнут делать это, может быть, через час.

Сказать, что они это делают из убеждения, как это обыкновенно говорят и они сами повторяют, — из убеждения в необходимости поддержания государственного устройства, было бы несправедливо, во-первых, потому, что все эти люди едва ли когда-нибудь даже думали о государственном устройстве и необходимости его; во-вторых, никак не могут они быть убеждены, чтобы то дело, в котором они участвуют, служило бы поддержанию, а не разрушению государства, а в-третьих, в действительности большинство этих людей, если не все, не только не пожертвуют никогда своим спокойствием и радостью для поддержания государства, но никогда не пропустят случая воспользоваться для своего спокойствия и радости всем, чем только можно, в ущерб государству. Стало быть, не из-за отвлеченного принципа государства они делают это.

Что же это такое?

Ведь всех этих людей я знаю. Если не знаю лично всех, то знаю приблизительно их характеры, их прошедшее, образ мыслей. Ведь у всех их есть матери, у некоторых есть жены, дети. Ведь всё это большею частью по сердцу добрые, кроткие, часто нежные люди, ненавидящие всякую жестокость, не говоря уже об убийстве людей, не могущие многие из них совершать убийства и истязания животных; кроме того, всё это люди, исповедующие христианство и считающие насилие над беззащитными людьми гнусным и постыдным делом. Ведь ни один из этих людей в обыкновенной жизни не только не в состоянии сделать ради своей маленькой выгоды одну сотую того, что сделал орловский губернатор над людьми, но каждый из них обидится, если предположат о нем, что он может в частной жизни совершить что-нибудь подобное.

А между тем вот они в получасе езды от того места, где они могут быть неизбежно приведены к необходимости делать это.

Что же это такое?

Но не только эти люди, едущие в этом поезде и готовые на убийства и истязания, но как могли те люди, от которых началось всё дело: помещик, управляющий, судья и те, которые из Петербурга предписали это дело и участвуют в нем своими распоряжениями, как могли эти люди: министр, государь, тоже добрые, исповедующие христианство люди, как могли они затеять и предписать такое дело, зная его последствия? Как могут даже не участвующие в этом деле зрители, возмущающиеся всяким частным случаем насилия, даже истязанием лошади, — допускать совершение такого ужасного дела? Как могут они не возмутиться против него, не стать поперек дороги и не закричать: «Нет, этого, убивать и сечь голодных людей за то, что они не отдадут мошеннически отнимаемое у них последнее достояние,— этого мы не позволим!» Но не только никто этого не делает, но, напротив, большинство людей, даже те люди, которые были заводчиками дела, как управляющий, помещик, судья и те, которые были участниками и распорядителями его, как губернатор, министр, государь, совершенно спокойны и даже не чувствуют укоров совести. Так же, повидимому, спокойны и все эти люди, едущие совершать это злодеяние.

Зрители, казалось бы, ничем не заинтересованные в деле, и те большею частью скорее с сочувствием, чем с неодобрением, смотрели на всех тех людей, готовящихся к совершению этого гадкого дела. В одном со мной вагоне ехал купец, торговец лесом, из крестьян, он прямо и громко выразил сочувствие тем истязаниям, которые предполагались над крестьянами: «Нельзя не повиноваться начальству, — говорил он, — на то — начальство. Вот, дай срок, повыгонят блох. Небось бросят бунтовать. Так им и надо».

Что же это такое?

Сказать, что все эти люди: подстрекатели, участники, попустители этого дела такие негодяи, что, зная всю мерзость того, что они делают, они — одни за жалованье, за выгоды, а другие из-за страха наказания делают дело, противное своим убеждениям, — тоже никак нельзя. Все эти люди умеют в известных положениях постоять за свои убеждения. Ни один из этих чиновников не украдет кошелька, не прочтет чужого письма, не снесет оскорбления, не потребовав от оскорбителя удовлетворения. Ни один из этих офицеров не согласится передернуть в картах, не заплатить карточный долг, выдать товарища, убежать с поля сражения или бросить знамя. Ни один из этих солдат не решится выплюнуть причастия или даже съесть говядины в страстную пятницу. Все люди эти готовы перенести всякого рода лишения, страдания, опасности скорее, чем согласиться сделать дело, которое они считают дурным. Стало быть, есть в этих людях сила противодействия, когда им приходится сделать дело, противное их убеждению.

Сказать, что все эти люди такие звери, что им свойственно и не больно делать такие дела, еще менее возможно. Стоит только поговорить с этими людьми, чтобы увидеть, что все они, и помещик, и судья, и министр, и царь, и губернатор, и офицеры, и солдаты не только в глубине души не одобряют такие дела, но страдают от сознания своего участия в них, когда им напомнят о значении этого дела. Они только стараются не думать об этом.

Стоит только поговорить с ними, со всеми участниками этого дела, от помещика до последнего городского и солдата, чтобы увидеть, что все они в глубине души знают, что это дело дурное и что лучше бы было не участвовать в нем, и страдают от этого.

Ехавшая с нами в одном поезде либеральная дама, увидав в зале 1-го класса губернатора и офицеров и узнав про цель их поездки, начала нарочно, громко, так, чтобы они слышали, ругать порядки нашего времени и срамить людей, участвующих в этом деле. Всем стало неловко. Все не знали, куда смотреть, но никто не возражал ей. Едущие в поезде делали вид, что не стоит возражать на такие пустые речи. Но было видно по лицам и бегающим глазам, что всем было стыдно. Это же я заметил и на солдатах. И они знали, что то дело, на которое они ехали, — дурное дело, но не хотели думать о том, что предстоит им.

Когда лесоторговец, и то, как я думаю, не искренно, а только для того, чтобы показать свою цивилизованность, начал говорить о том, как необходимы такие меры, то солдаты, слышавшие его, все отворачивались от него, делая вид, что не слышат, и хмурились.

Все эти люди, как те, которые, как помещик, управляющий, министр, царь, содействовали совершению этого дела, так же как и те, которые едут теперь в этом поезде, даже и те, которые, не участвуя в этом деле, видят со стороны совершение его, все знают, что дело это дурное, и стыдятся своего участия в нем и даже присутствия при нем.

Так зачем же они делали, делают и терпят его?

Спросите об этом и тех, которые, как помещик, затеяли дело, и тех, которые, как судьи, постановили, хотя и формально законное, но явно несправедливое решение, и тех, которые предписали исполнение решения, и тех, которые, как солдаты, городовые и крестьяне, своими руками будут исполнять эти дела: бить и убивать своих братьев, — все они, и подстрекатели, и пособники, и исполнители, и попустители этих преступлений, все скажут в сущности одно и то же.

Начальствующие, возбуждавшие, содействовавшие делу и распоряжавшиеся им, скажут, что делают то, что делают, потому, что такие дела необходимы для поддержания существующего порядка; поддержание же существующего порядка необходимо для блага отечества, человечества, для возможности общественной жизни и движения прогресса.

Люди низших сословий, крестьяне, солдаты, те, которые своими руками должны будут исполнять насилие, скажут, что они делают то, что делают, потому, что это предписано высшим начальством, а высшее начальство знает, что оно делает. То же, что начальство состоит из тех самых людей, которые и должны быть начальством, и знает, что делает, представляется им несомненной истиной. Если эти низшие исполнители и допускают возможность ошибки или заблуждения, то только в низших начальственных лицах; высшая же власть, от которой исходит всё, кажется им несомненно непогрешимой.

Хотя и различно объясняя мотивы своей деятельности, и те и другие, как начальствующие, так и подчиняющиеся, сходятся в том, что делают они то, что делают, потому, что существующий порядок есть тот самый порядок, который необходим и должен существовать в настоящее время и поддерживать который поэтому составляет священную обязанность каждого.

На этом признании необходимости и потому неизменности существующего порядка зиждется и то всегда всеми участниками государственных насилий приводимое в свое

оправдание рассуждение о том, что так как существующий порядок неизменен, то отказ отдельного лица от исполнения возлагаемых на него обязанностей не изменит сущности дела, а может сделать только то, что на месте отказавшегося будет другой человек, который может исполнить дело хуже, т. е. еще жесточе, еще вреднее для тех людей, над которыми производится насилие.

Эта-то уверенность в том, что существующий порядок есть необходимый и потому неизменный порядок, поддерживать который составляет священную обязанность всякого человека, и дает добрым и в частной жизни нравственным людям возможность участвовать с более или менее спокойной совестью в таких делах, как то, которое совершалось в Орле и к совершению которого готовились люди, ехавшие в тульском поезде.

Но на чем же основана эта уверенность?

Понятно, что помещику приятно и желательно верить в то, что существующий порядок необходим и неизменен, потому что этот-то существующий порядок и обеспечивает ему доход с его сотен и тысяч десятин, благодаря которому он ведет свою привычную, праздную и роскошную жизнь.

Понятно тоже, что судья охотно верит в необходимость того порядка, вследствие которого он получает в 50 раз больше самого трудолюбивого чернорабочего. Также понятно это для высшего судьи, получающего 6 и более тысяч жалованья, и для всех высших чиновников. Только при этом порядке он, как губернатор, прокурор, сенатор, член разных советов, может получать свои несколько тысяч жалованья, без которых он тотчас же погиб бы с своей семьей, так как, кроме как на том месте, которое он занимает, он, по своим способностям, трудолюбию и знаниям, не мог бы получать и 0,001 того, что он получает. В том же положении и министр, и государь, и всякая высшая власть, с тою только разницей, что чем они выше и чем исключительнее их положение, тем им необходимее верить в то, что существующий порядок есть единственно возможный порядок, так как вне его они не только не могут получить равного положения, но должны будут пасть ниже всех других людей. Человек, поступивший вольным наймом в городские за 10 рублей жалованья, которые он получит легко и во всяком другом месте, мало нуждается в сохранении существующего порядка и потому может и не верить в его неизменность. Но король или император, получающий на этом месте миллионы, знающий, что вокруг него есть тысячи людей, желающих столкнуть его и стать на его месте, знающий, что он нигде на другом месте не получит такого дохода и почета, знающий в большей части случаев, при более или менее деспотическом правлении, даже то, что, если его свергнут, его будут еще судить за всё то, что он делал, пользуясь своей властью, — всякий король или император не может не верить в неизменность и священность существующего порядка. Чем выше то положение, на котором стоит человек, чем оно выгоднее и поэтому шатче и чем страшнее и опаснее падение с него, тем более верит человек, занимающий это положение, в неизменность существующего порядка, и поэтому с тем большим спокойствием совести может такой человек совершать как будто не для себя, а для поддержания этого порядка, дела дурные и жестокие.

Так это для всех начальствующих людей, занимающих положения выгоднее тех, которые они могли бы занять без существующего порядка, начиная от низших полицейских чиновников до высшей власти. Все эти люди более или менее верят в неизменность существующего порядка потому, главное, что он выгоден им.

Но что заставляет крестьян, солдат, стоящих на низшей ступени лестницы, не имеющих никакой выгоды от существующего порядка, находящихся в положении самого последнего подчинения и унижения, верить в то, что существующий порядок, вследствие которого они находятся в своем невыгодном и униженном положении, и есть тот самый порядок, который должен быть и который поэтому надо поддерживать, совершая для этого даже дурные, противные совести дела?

Что заставляет этих людей делать то ложное рассуждение, что существующий порядок неизменен и потому должно поддерживать его, тогда как очевидно, что, напротив, он только оттого неизменен, что они-то и поддерживают его?

Что заставляет вчера взятых от сохи и наряженных в эти безобразные, неприличные с голубыми воротниками и золотыми пуговицами одежды ехать с ружьями и саблями на убийство своих голодных отцов и братьев? У этих уже нет никаких выгод и никакой опасности потерять занимаемое положение, потому что положение их хуже того, из которого они взяты.

Начальствующие лица высших сословий: помещики, купцы, судьи, сенаторы, губернаторы, министры, цари, офицеры участвуют в таких делах, поддерживая существующий порядок, потому что этот порядок выгоден им. Кроме того, они, часто добрые, кроткие люди, чувствуют себя в состоянии участвовать в таких делах еще и потому, что участие их ограничивается подстрекательствами, решениями, распоряжениями. Все эти начальствующие люди не сами делают то, что они вызывают, решают и приказывают делать. Большею частью они даже не видят того, как делаются все те страшные дела, которые ими вызваны и предписаны.

Но несчастные люди низших сословий, не получающие от существующего порядка никакой выгоды, находящиеся, напротив, вследствие этого порядка в величайшем презрении, они-то, для поддержания этого невыгодного для них порядка сами своими руками вырывающие людей из семей, вяжущие их, запирающие их в тюрьмы, каторги, стерегущие, стреляющие их, — зачем они это делают?

Что заставляет этих людей верить в то, что существующий порядок неизменен и что должно поддерживать его?

Ведь всякое насилие зиждется только на них, на этих людях, которые своими руками бьют, вяжут, запирают, убивают. Ведь если бы не было этих людей — солдат или полицейских, вообще вооруженных, готовых по приказанию насиловать, убивать всех тех, кого им велят, ни один из тех людей, которые подписывают приговоры казней, вечных заключений, каторг, никогда не решился бы сам повесить, запереть, замучить одну тысячную часть тех, которых он теперь спокойно, сидя в кабинете, распоряжается вешать и всячески мучить только

потому, что он этого не видит, а делает это не он, а где-то вдалеке покорные исполнители.

Ведь все те несправедливости и жестокости, вошедшие в обычай существующей жизни, вошли в обычай только потому, что есть эти люди, всегда готовые поддерживать эти несправедливости и жестокости. Ведь если бы не было этих людей, то не только некому было бы насиловать все эти огромные массы насилуемых людей, но распоряжающиеся никогда и не решились бы не только предписывать, но не смели бы и мечтать о том, что они теперь с уверенностью предписывают. Ведь если бы не было этих людей, готовых по воле тех, кому они подчиняются, истязать, убивать того, кого велют, никто никогда не решился бы утверждать то, что с уверенностью утверждают все неработающие землевладельцы, а именно, что земля, окружающая мрущих от безземелья крестьян, есть собственность человека, не работающего на ней, и что мошеннически собранные хлебные запасы должны храниться в целости среди умирающего с голода населения, потому что купцу нужны барыши и т. п. Не будь этих людей, готовых по воле начальства истязать и убивать всякого, кого велют, не могло бы никогда прийти в голову помещику отнять у мужиков лес, ими выращенный, и чиновникам считать законным получение своих жалований, собираемых с голодного народа за то, что они угнетают его, не говоря уже о том, чтобы казнить, или запереть, или изгонять людей за то, что они опровергают ложь и проповедуют истину. Ведь всё это требуется и делается только потому, что все эти начальствующие люди несомненно уверены, что у них всегда под руками покорные люди, готовые привести всякие их требования в исполнение посредством истязаний и убийств.

Ведь только оттого совершаются такие дела, как те, которые делали все тираны от Наполеона до последнего ротного командира, стреляющего в толпу, что их одуряет стоящая за ними власть из покорных людей, готовых исполнять всё, что им прикажут. Вся сила, стало быть, в людях, исполняющих своими руками дела насилия, в людях, служащих в полиции, в солдатах, преимущественно в солдатах, потому что полиция только тогда совершает свои дела, когда за нею стоят войска.

Так что же привело этих-то, не имеющих от этого никакой выгоды, принужденных своими руками делать все эти страшные дела, добрых людей, от которых зависит всё дело, что привело этих добрых людей в то удивительное заблуждение, при котором они уверились, что существующий невыгодный, губительный и мучительный для них порядок и есть тот самый порядок, который и должен существовать?

Кто ввел их в это удивительное заблуждение?

Не сами же они уверили себя в том, что им нужно делать то, что не только мучительно, невыгодно и губительно для них и для всего их сословия, составляющего 0,9 всего населения, но и противно их совести.

Как же ты будешь убивать людей, когда в законе божьем сказано: не убий? — много раз спрашивал я у различных солдат и всегда приводил этим вопрошаемого, напоминая ему то, о чем он хотел бы не думать, в неловкое и смущенное положение. Он знал, что есть обязательный закон бога: не убий, и знал, что есть обязательная военная служба, но никогда не думал, что тут есть противоречие. Смысл робких ответов, которые я получал на

этот вопрос, состоял всегда приблизительно в том, что убийство на войне и казнь преступников по распоряжению правительства не включается в общее запрещение убийств. Но когда я говорил, что такого ограничения не сделано в божьем законе, и упоминал об обязательном для всех христианском учении братства, прощения обид, любви, которые никак не могли согласоваться с убийством, люди из народа обыкновенно соглашались, но уже с своей стороны задавали мне вопрос: каким же образом делается то, спрашивали они, что правительство, которое, по их понятиям, не может ошибаться, распоряжается, когда нужно, войсками, посылая их на войну, и казнями преступников? Когда же я отвечал на это, что правительство, распоряжаясь такими делами, поступает неправильно, собеседник приходил в еще большее смущение и либо прекращал разговор, либо раздражался на меня.

«Стало быть, нашли такой закон. Я, чай, архиереи не хуже нашего знают», — сказал мне на это один русский солдат. И, сказав это, солдат, очевидно, почувствовал себя успокоенным, вполне уверенный, что руководители его нашли закон, тот самый, по которому служили его предки, служат цари, наследники царей и миллионы людей и служит он сам, и что то, что я ему говорил, была какая-нибудь хитрость или тонкость вроде загадки.

Все люди нашего христианского мира знают, несомненно знают и по преданию, и по откровению, и по непререкаемому голосу совести, что убийство есть одно из самых страшных преступлений, которые только может сделать человек, как это и сказано в Евангелии, и что не может быть этот грех убийства ограничен известными людьми, т. е. что одних людей грех убить, а других не грех. Все знают, что если грех убийства — грех, то он грех всегда, независимо от тех людей, над которыми он совершается, как грех прелюбодеяния, воровства и всякий другой, но вместе с тем люди с детства, смолodu видят, что убийство не только признается, но благословляется всеми теми, которых они привыкли почитать своими духовными, от бога поставленными руководителями, видят, что светские руководители их с спокойной уверенностью учреждают убийства, носят на себе, гордясь ими, орудия убийства и от всех требуют, во имя закона гражданского и даже божеского, участия в убийстве. Люди видят, что тут есть какое-то противоречие, и, не будучи в силах распутать его, невольно предполагают, что противоречие это происходит только от их незнания. Самая грубость и очевидность противоречия поддерживает их в этом убеждении. Не могут они себе представить, чтобы просветители их, ученые люди, могли с такою уверенностью проповедовать два кажущиеся столь противоположными положения: обязанность для людей христианского закона и убийства. Не может себе простой неиспорченный ребенок, а потом юноша представить, чтобы те люди, так высоко стоящие в его мнении, которых он считает или священными, или учеными, для каких бы то ни было целей могли бы так бессовестно обманывать его. А это-то самое и сделано и, не переставая, делается над ним. Делается, во-1-х, тем, что всем рабочим людям, не имеющим времени самим разбирать нравственные и религиозные вопросы, с детства и до старости, примером и прямым поучением внушается, что истязания и убийства совместимы с христианством и что для известных государственных целей не только могут быть допущены, но и должны быть употребляемы истязания и убийства; во-2-х, тем, что некоторым из них, отобранным по набору, по воинской повинности или найму, внушается, что совершение своими руками истязаний и убийств составляет священную обязанность и даже доблестный, достойный похвал и вознаграждений поступок.



Общий обман, распространенный на всех людей, состоит в том, что во всех катехизисах или заменивших их книгах, служащих теперь обязательному обучению детей, сказано, что насилие, т. е. истязание, заключения и казни, равно как и убийства на междоусобной или внешней войне для поддержания и защиты существующего государственного устройства (какое бы оно ни было, самодержавное, монархическое, конвент, консульство, империя того или другого Наполеона или Буланже, конституционная монархия, коммуна или республика), совершенно законны и не противоречат ни нравственности, ни христианству.

Во всех катехизисах или книгах, употребляемых в школах, сказано это. И люди так уверяются в этом, что вырастают, живут и умирают в этом убеждении, ни разу не усомнившись в нем.

Это один обман — общий, обман, производимый над всеми людьми; другой есть обман частный, производимый над отобранными тем или другим способом солдатами или полицейскими, исполняющими нужные для поддержания и защиты существующего строя истязания и убийства.

Во всех военных уставах сказано теми или другими словами то, что сказано в русском военном уставе следующими словами (§ 87): Точно и беспрекословно исполнять приказание начальства значит: полученное от начальства приказание в точности исполнить, не рассуждая о том, хорошо оно или нет и возможно ли его исполнить. Сам начальник отвечает за последствия отданного им приказания. (§ 88). Подчиненный не должен исполнять приказания начальника только в том случае, когда он ясно видит, что, исполняя приказание начальника, он... — невольно думаешь, что будет сказано: когда ясно видит, что, исполняя приказание начальника, он нарушает закон бога. Ничуть не бывало: если он ясно видит, что нарушает присягу, и верность, и службу государю.

Сказано, что человек, будучи солдатом, может и должен без исключения совершать все приказания начальника, состоящие для солдата преимущественно в убийстве, и, следовательно, нарушать все законы божеские и человеческие, но только не свою верность и службу тому, кто в данный момент случайно находится в обладании властью.

Так это сказано в русском военном уставе и точно то же, хотя и другими словами, сказано во всех военных уставах, как оно и не может быть иначе, потому что в сущности на этом обмане освобождения людей от повиновения богу или своей совести и замене этого повиновения повиновением случайному начальнику основано всё могущество войска и государства.

Так вот на чем основывается та странная уверенность низших сословий в том, что существующий губительный для них порядок есть тот самый, который и должен быть, и что потому они должны истязаниями и убийствами поддерживать его.

Уверенность эта основывается на сознательном обмане, совершаемом над ними высшими сословиями.

Оно и не может быть иначе. Для того, чтобы заставить низшие, самые многочисленные классы людей угнетать и мучить самих себя, совершая при этом поступки, противные своей

совести, необходимо было обмануть эти низшие, самые многочисленные классы. Так оно и сделано.

На днях я опять видел открытое совершение этого бесстыдного обмана и опять удивлялся на то, как беспрепятственно и нагло совершается он.

В начале ноября, проезжая по Туле, я увидел опять у ворот дома земской управы знакомую мне густую толпу народа, из которой слышались вместе пьяные голоса и жалостный вой матерей и жен. Это был рекрутский набор.

Как и всегда, я не мог проехать мимо этого зрелища; оно притягивает меня к себе какими-то злыми чарами. Я опять вошел в толпу, стоял, смотрел, расспрашивал и удивлялся на ту беспрепятственность, с которою совершается это ужаснейшее преступление среди бела дня и большого города.

Как и все прежние года, во всех селах и деревнях 100-миллионной России к 1-му ноября старосты отобрали по спискам назначенных ребят, часто своих сыновей, и повезли их в город.

Дорогой шло безудержное пьянство, в котором старшие не мешали рекрутам, чувствуя, что идти на такое безумное дело, на которое они шли, бросая жен, матерей, отрекаясь от всего святого только для того, чтобы сделаться чьими-то бессмысленными орудиями убийства, слишком мучительно, если не одурманить себя вином.

И вот они ехали, пьянствовали, ругались, пели, дрались, уродовали себя. Ночь они провели на постоянных дворах. Утром опять опохмелились и собрались у земской управы.

Одна часть их в новых полушубках, в вязаных шарфах на шеях, с влажными пьяными глазами или с дикими подбадривающими себя криками, или тихие и унылые толкуются около ворот между заплаканными матерями и женами, дожидаясь очереди (я застал тот день, в который шел самый прием, т. е. осмотр назначенных в ставку) ; другая часть в это время толпится в прихожей присутствия.

В присутствии же идет спешная работа. Отворяется дверь, и сторож вызывает Петра Сидорова. Петр Сидоров вздрагивает, крестится и входит в маленькую комнатку с стеклянную дверь. В этой комнатке раздеваются призываемые. Только что принятый и вышедший голым из присутствия рекрут, товарищ Петра Сидорова, с дрожащей челюстью торопливо одевается. Петр Сидоров уже слышал и по лицу видит, что тот принят. Петр Сидоров хочет спросить, но его торопят и велят скорее раздеваться. Он скидывает полушубок, нога об ногу сапоги, снимает жилет, перетягивает через голову рубаху и с выступающими ребрами, голый, дрожа телом и издавая запах вина, табаку и пота, босыми ногами входит в присутствие, не зная, куда деть обнаженные жилистые руки.

В присутствии висит прямо на виду в большой золотой раме портрет государя в мундире с лентой и в углу маленький портрет Христа в рубахе и терновом венке. По середине комнаты стоит покрытый зеленым сукном стол, на котором разложены бумаги и стоит треугольная штучка с орлом, называемая зеркало. Вокруг стола сидят с уверенным, спокойным видом

начальники. Один курит, другой перелистывает бумаги. Как только Сидоров вошел, к нему подходит сторож, и его ставят под мерку, толкают под подбородок, поправляют его ноги. Подходит один с папироской — это доктор, и, не глядя в лицо рекрута, а куда-то мимо, гадливо дотрагивается до его тела и меряет, щупает и велит сторожу разевать ему рот, велит дышать, что-то говорить. Кто-то что-то записывает. Наконец, ни разу не взглянув ему в глаза, доктор, говорит: «Годен! Следующего!» и с усталым видом садится опять к столу. Опять солдаты толкают малого, торопят его. Он кое-как, поспешая, натягивает рубаху, не попадая в рукава, кое-как заворачивает штаны, портянки, надевает сапоги, ищет шарф, шапку, подхватывает в охапку полушубок, и его выводят в залу, отгораживая его скамьей. За этой скамьей ждут принятые. Такой же, как он, молодой малый из деревни, но из дальней губернии, уже готовый солдат с ружьем, с примкнутым острым штыком караулит его, готовый заколоть его, если бы он вздумал бежать.

Между тем толпа отцов, матерей, жен, толкаемая городовыми, жметя у ворот, узнавая, чей принят, чей нет. Выходит один забракованный и объявляет, что Петруху приняли, и раздаётся взвизг Петрухиной молодайки, для которой это слово: «принят», значит разлука на 4—5 лет, жизнь солдатки в кухарках, в распутстве.

Но вот по улице проехал человек с длинными волосами и в особенном, отличающемся от всех наряде и, сойдя с дрожek, подходит к дому земской управы. Городовые расчищают ему дорогу между толпою. «Приехал «батюшка» приводить к присяге». И вот этот батюшка, которого уверили, что он особенный, исключительный служитель Христа, большей частью не видящий сам того обмана, под которым он находится, входит в комнату, где ждут принятые, надевает занавеску парчовую, выпростывая из-за нее длинные волосы, открывает то самое Евангелие, в котором запрещена клятва, берет крест, тот самый крест, на котором был распят Христос за то, что он не делал того, что велит делать этот мнимый его служитель, кладет их на аналой, и все эти несчастные, беззащитные и обманутые ребята повторяют за ним ту ложь, которую он смело и привычно произносит. Он читает, а они повторяют: обещаюсь и клянусь всемогущим богом пред святым его Евангелием... и т. д. защищать, т. е. убивать всех тех, кого мне велят, и делать всё то, что мне велят те люди, которых я не знаю и которым я нужен только на то, чтобы совершать те злодеяния, которыми они держатся в своем положении и которыми угнетают моих братьев. Все принятые ребята бессмысленно повторяют эти дикие слова, и так называемый «батюшка» уезжает с сознанием того, что он правильно и добросовестно исполнил свой долг, а все эти обманутые ребята считают, что те нелепые, не понятные им слова, которые они только что произнесли, теперь, на всё время их солдатства, освободили их от их человеческих обязанностей и связали их новыми, более обязательными солдатскими обязанностями.

И дело это совершается публично, и никто не крикнет обманывающим и обманутым: опомнитесь и разойдитесь, ведь это всё самая гнусная и коварная ложь, которая губит не только ваши тела, но и души.

Никто не делает этого; напротив, когда всех приняли и надо выпускать их, как бы в насмешку им, воинский начальник с самоуверенными, величественными приемами входит в залу, где заперты обманутые, пьяные ребята, и смело по-военному кричит им: Здорово ребята! Поздравляю с «царской службой». И они бедные (уже кто-то научил их) лопочат что-

то непривычным, полупьяным языком, вроде того, что они этому рады.

Между тем толпа отцов, матерей, жен стоит у дверей и ждет. Женщины заплаканными, остановившимися глазами смотрят на дверь. И вот она отворяется, и выходят, шатаясь и кружась, принятые рекрута: и Петруха, и Ванюха, и Макар, стараясь не смотреть на своих и не видеть их. Раздается вой матерей и жен. Одни обнимаются и плачут, другие храбрятся, третьи утешают. Матери, жены, зная, что они теперь на три, четыре, пять лет остались сиротами без кормильца, воют и наголос причитают. Отцы мало говорят, а только с сожалением чмокают языками и вздыхают, зная, что теперь уж не видать им выхоженных ими и выученных помощников, а вернуться к ним уж не те смирные, работающие земледельцы, какими они были, а большей частью уже развращенные, отвыкшие от простой жизни щеголи-солдаты.

И вот вся толпа рассаживается по саням и трогается вниз по улице к постоянным дворам и трактирам, и еще громче раздаются вместе, перебивая друг друга, песни, рыдания, пьяные крики, причитания матерей и жен, звуки гармонии и ругательства. Все отправляются в кабаки, трактиры, доход с которых поступает правительству, и идет пьянство, заглушающее в них чувствуемое сознание незаконности того, что делается над ними.

Две-три недели они живут дома и большею частью гуляют, т. е. пьянствуют.

В назначенный срок их собирают, сгоняют, как скотину, в одно место и начинают обучать солдатским приемам и учениям. Обучают их этому такие же, как они, но только раньше, года два-три назад, обманутые и одичалые люди. Средства обучения: обманы, одурение, пинки, водка. И не проходит года, как душевноздоровые, умные, добрые ребята, становятся такими же дикими существами, как и их учителя.

— Ну, а если арестант — твой отец и бежит? — спросил я у одного молодого солдата.

— Могу заколоть штыком, — отвечал он особенным, бессмысленным солдатским голосом. — А если «удаляется», должён стрелять, — прибавил он, очевидно гордясь тем, что он знает, что нужно делать, когда отец его станет удаляться.

И вот когда он, добрый молодой человек, доведен до этого состояния, ниже зверя, он таков, какой нужен тем, которые употребляют его как орудие насилия. Он готов: погублен человек, и сделано новое орудие насилия.

И всё это совершается каждый год, каждую осень везде, по всей России, среди бела дня и большого города, на виду у всех, и обман так искусен, так хитер, что все видят его, знают в глубине души всю гнусность его, все страшные последствия его и не могут освободиться от него.